Бейкер-стрит на Петроградской

Автор:
Игорь Масленников

Бейкер-стрит на Петроградской

Игорь Федорович Масленников

Амаркорд

Эта книга – увлекательное воспоминание классика отечественного кино, режиссера и сценариста Игоря Масленникова.

Игорь Масленников

Бейкер-стрит на Петроградской

© Масленников И., 2007

© Аркус Л., состав, 2007

© Валуцкий В., вступительная статья, 2007

© Киностудия «Ленфильм», 1967, 1969, 1972, 1974, 1976, 1978–1982, 1985, 1988, 1989

© Ленинградское телевидение, 1970

© Киностудия «Teamfilm AS», 1974

© Киностудия «Kratky Film Praha», 1989

© Киностудия «La Sept Cinema», 1991

© Киностудия «Троицкий мост», 1989, 1990, 1991, 1995, 2000, 2002, 2003, 2006

© Киностудия «Sodaperaga Productions», 1991

© «Пеликан», 1999

© Продюсерская компания «Фора-фильм», 2002

© ООО «Сеанс», 2007

© ЗАО ТИД «Амфора», 2007

Владимир Валуцкий

Масленников на Бейкер-стрит и в других своих садах

«Всю жизнь я плыл по течению без руля и ветрил, не прилагая никаких усилий. Ничего не планировал, двигался туда, где мне казалось интересней. И то, что получилось, получалось само собой…» Таким признанием Игорь Федорович Масленников заканчивает свою книгу.

Конечно, в судьбе любого человека случай, игра обстоятельств, играет отведенную им роль, но, возводя понятие «само собой» как бы в некий абсолют своей биографии, Масленников вольно или невольно лукавит. И кстати, «двигаться туда, где… интересней» – уже не совсем то же, что «плыть по течению».

Плывущий по течению – это, как правило, равнодушный человек, вялый сторонний наблюдатель. Но всё рассказанное Масленниковым в его книге опровергает такую характеристику.

Мне незачем скрывать (об этом и в книге много сказано), что мы знакомы с Игорем очень давно, и по жизни, и по работе. И Масленников был для меня всегда завидным примером активного любопытства к жизни, примером постоянной и бурной деятельности. Филолог, журналист, один из организаторов Ленинградского телевидения, телеведущий двух популярнейших программ о кино, театральный художник, руководитель Телевизионного, а затем Третьего творческого объединения «Ленфильма», преобразованного еще в первые годы Перестройки в студию «Троицкий мост»… Общественный деятель – парторг «Ленфильма», депутат Ленсовета, председатель Союза кинематографистов РФ, первый секретарь того же Союза. Член жюри множества фестивалей. Педагог, профессор ВГИКа…

Муж, отец своих детей, дед своих внуков, прадед своей правнучки, автомобилист с самой зари автолюбительства, охотник за груздями и рыжиками, домашний мастер на все руки… Не слабый перечень для «плывущего без руля и ветрил»!

И наконец, он – Режиссер, всегда находящийся в работе. Или занятый поиском новых идей. (Кстати, проходящее почти что лейтмотивом в его книге «кладбище неосуществленных замыслов» – тому яркое, хотя и грустное подтверждение.)

Масленников делит режиссеров на «архитекторов» и «садовников», относя себя к последним.

Это правда, в его работах менее всего присутствует расчет, их движет более всего любовь к героям (а в их лице – и к артистам), – так, вероятно, без любви не опыляются цветы, не прививаются саженцы, не вырастает сад.

И в чем, безусловно, нужно согласиться с автором – что, «растя свои фильмы, как хрупкое деревце» (его выражение), он растит их не ради самого процесса, не ради тщеславия или каких-то формальных поисков, он растит свои сады для того, чтобы в них пришли люди.

Он всегда делал «зрительское» кино – в лучшем и почти забытом значении этого слова, преобразившегося ныне в неаппетитное слово «коммерческое».

Однако, как бы ни менялись термины, как бы ни менялся киноязык, Масленников по сути ни разу не изменил тому доброму старому кино, которое, по словам

талантливого и рано ушедшего от нас Сережи Добротворского «…учило не читать чужих писем и не стрелять в белых лебедей, отдавать деньги за краденые автомобили нуждающимся детям или тому, что только у дятла не болит голова о чужой беде». Добавлю: понимать женщин, сочувствовать их нелегкой женской доле.

Оттого так и популярны – без рекламных раскруток, без заказных статей (и вопреки разгромным), без покровительства сильных кинематографического мира сего – его лучшие фильмы.

Впрочем, сам Масленников не делит свои фильмы на лучшие и худшие, он говорил мне как-то (и я это тоже взял на вооружение), что фильмы как дети – а разве мы делим своих детей на плохих и хороших только потому, что одни хроменькие и некрасивые, а другие красавцы здоровяки?

В детях отражаемся мы – со своими достоинствами и с недостатками. И поэтому так увлекательна творческая кухня этих самых разных фильмов – от прославленного «Шерлока Холмса», до забытого «Продления рода», – в которую нас вводит автор в своей книге. Как имеющий отношение ко многим из этих кухонь, я подтверждаю: здесь никакой беллетристики, ничего против истины не убавлено, не прибавлено.

Полнокровная жизнь человека, любопытного к жизни, сводила Масленникова с множеством людей, от легендарных до самых незаметных, носила его по городам и весям земного шара, и эти встречи, эти путевые впечатления, рассказаны автором ярко, с талантом, присущим литератору.

Иные мемуары приводят в уныние: авторы их слишком увлечены фактами своей биографии, совершенно забывая, что факты сии интересны одним им. Такого самолюбования книга Масленникова лишена начисто: его биография – это одновременно и биография времени, а точнее, времен, в которых он жил и которые его так или иначе формировали. Автор книги не стремится, а как бы даже опасается возвыситься над читателем; беседуя с ним на равных, он предельно искренен – и потому читатель, я уверен, тоже будет искренне радоваться вместе с автором его успехам и огорчаться его неудачами. Сопереживать его «покаяниям». Смеяться над тем, что действительно смешно.

В книге нет общих мест – она, в отличие от иных мемуаров, информативно насыщена, динамична. Она легка для читательского восприятия: короткие главы, неутомительные по длине абзацы, частое вплетение диалогов, писем, документов, анекдотов и даже стихов – не украшения ради, а всегда к месту и по делу.

За литературой четко виден мастер монтажа, кинематографист. Поэтому так много места в книге уделено товарищам Масленникова по кинематографическому делу: его операторам, композиторам, художникам, звукооператорам, редакторам. Уже сложившимся и прославленным ученикам и сегодняшним студентам. Любимым артистам.

И даже для сценаристов, которые, в силу незаметности своей профессии, обычно проходят в мемуарах незаметными тенями, у Масленникова нашлись теплые и справедливые слова, которые мне особенно приятны – настолько, что не откажу себе в удовольствии процитировать: «Загадочно бескорыстие этого племени. Подумайте сами – корпеть над собственным замыслом, любовно его реализовывать, выписывать характеры, придумывать сюжетные ходы и коллизии, на внутреннем экране своего воображения видеть этот сочиненный тобой мир, слышать диалоги, страдать за героев и… в один роковой момент твое детище оказывается в руках «реализатора», как называют режиссеров французы, который бесцеремонно начинает вторгаться в хрупкий мир, сочиненный трепетной рукой. Остается только гонорар…»

Если бы Игорь Федорович не задумал сам написать свою книгу, его следовало бы уговорить, уломать, заставить сделать это. Потому что ему есть что рассказать с присущим ему живым талантом рассказчика – и, следовательно, читателю есть чем увлечься.

И с удовольствием дочитать книгу до конца, как сделал это я, почти все из рассказанного знавший и ранее.

P. S.

Недавно у меня был разговор с Игорем: он колебался – набирать ли ему очередной режиссерский курс во ВГИКе. Я советовал воздержаться: дело это отнимает много времени и душевных сил, а он – еще действующий, снимающий

режиссер, стоит ли так разрываться в наши неюные годы? Он как-то грустно со мной согласился.

На днях я узнал, что, выкраивая время между съемками, мотаясь из Петербурга в Москву, Масленников курс все-таки набирает. «Знаешь, – сказал он, – они, конечно, неучи и олухи, но все равно такие занятные человечки!..»

Моим родным и любимым

Инне, Никите, Ане, Маше, еще одной Маше, Наташе и Кате

посвящаю эту книгу

Автор выражает благодарность за активное литературное участие в создании этой книги режиссеру и публицисту из Киева Олексию-Нестору НАУМЕНКО.

О чем тут говорить?

Баскервильские собаки желают познакомиться. – Спасибо пиратам из Западного Берлина. – Маргарет Тэтчер отвечает за всю Англию. – Заговор молчания.

Звонок из Лондона:

– Мистер Масленников?

– Да…

– Игорь?

– Игорь…

– Вас беспокоит The Dartmoor Sherlock Holmes Society «THE BASKERVILLE HOUNDS»… Наш президент Филипп Веллер просил узнать у вас, желаете ли вы с нами встретиться и когда у вас будет для этого время… Меня зовут Таня… Запишите, пожалуйста, мои лондонские телефоны.

– Простите, но я ничего не понял.

– Дартмурское общество Шерлока Холмса «Баскервильские собаки» любит ваши фильмы и желает с вами познакомиться… Мы готовы приехать в Петербург.

И вот сентябрьским вечером 2003 года я еду в Стрельну, что под Петербургом, где в отеле «Балтийская звезда» рядом с только что отреставрированным Константиновским дворцом меня ждет русскоговорящая англичанка Таня Иверт и кто-то из «баскервильских собак».

Кто-то! Их было восемнадцать человек – немцы, французы, японцы и, конечно, англичане во главе с солидным «эсквайром» – президентом общества мистером Филиппом Веллером. Общество это насчитывает семнадцать отделений по всему миру.

Обмен подарками.

Они мне – огромную бутыль виски и грамоту, где я объявляюсь почетным членом «Баскервильских собак».

Я им – комплект DVD с нашими фильмами.

Итог беседы:

– Откуда вы так хорошо знаете наши фильмы о Шерлоке Холмсе?

– У нас имеется полный комплект…

– Но на Западе они не продавались! Наши телевизионные стандарты метражей в то время не соответствовали…

– Ваши фильмы были показаны по всем каналам стран Восточной Европы, и ГДР в том числе.

– Да, были показаны…

– Западный Берлин смотрел телевидение ГДР…

– Ну и…

– Не только смотрел, но и записывал.

Таким пиратским образом капиталистический мир узнал о нашем «Холмсе».

А я-то думал, что только «Собаку Баскервилей» удалось показать по крупнейшему британскому телеканалу Би-би-си: для этого показа я сократил каждую из двух серий, чтобы они соответствовали европейскому телестандарту, до 52 минут. Спустя некоторое время газета «Daily Mail» написала о том, что Маргарет Тэтчер назвала русского Холмса лучшим в мире.

Так родилась легенда, что все англичане признали нашего Холмса.

Сколько я могу судить по количеству писем, которые до сих пор получаю, в России растет и множится армия поклонников нашего «Холмса». Они объединяются в фанклубы, создают специальные сайты. Не говоря уж о тиражах кассет и дисков, которые неизменно распродаются и вновь печатаются. Не говоря уж о частоте регулярных показов по всем центральным, региональным каналам и кабельным сетям – всем известно, что телевизионщики без особых рейтинговых резонов не решаются на столь частые повторы. Да что говорить, ведь «Холмс» единственный фильм, который наряду с «Чапаевым» и «Штирлицем» прочно вошел в анекдоты. И однако же ни в те годы, когда выходили телепремьеры, ни в последующее время неувядающей народной любви я не прочитал ни одной серьезной рецензии на череду наших фильмов о Шерлоке Холмсе.

Я задал вопрос одному из близких мне киноведов-кинокритиков:

– Чем вызван этот заговор молчания? Ведь все вы рассыпаетесь в комплиментах, рады смотреть вновь и вновь наши серии…

– Старик, – ответил он, – о чем тут говорить?..

Именно поэтому я сел за компьютер и решил рассказать вам о той цепи случайностей, которая привела меня сначала в кинематограф, а потом и к этой книге.

Детство и отрочество

Моя старшая сестра. – Это стучит твое сердце. – У Меркурьевых на Чайковского, 33, и у Глеба Семенова в Аничковом дворце. – Челябинская баранка и кулек сахарного песку. – Я читаю Диккенса. – Яшку Кипринского переплюнуть трудно.

…Лев Толстой писал, что помнит себя в момент рождения, помнит то теплое чувство, когда его, новорожденного, купали в отваре из овсяных отрубей, помнит их запах.

Я не Лев Толстой, и мое первое воспоминание не такое раннее.

Из глубины памяти медленно, как фотоотпечаток, проявляется неприятное чувство, граничащее с отчаянием и даже злобой, испытанное в младенчестве: меня – еще лишенного дара речи, примерно пятимесячного, тискает двоюродная сестра Ирина. Она на двенадцать лет старше и обращается со мной, как с живой куклой.

Это память?

Или это всего лишь старая фотография из семейного альбома, где Ирина действительно запечатлена в «бабушкином» кресле, обитом медово-зеленым

бархатом, и на руках у этой девочки-подростка действительно вертится пухлый мальчишка в капоре, то есть я. К слову, кресло это и поныне живо. Пройдя через годы, города, огонь и бомбежки, доживает оно свои тихие стариковские дни в купленной за недорого избе на Валдае.

Засыпая в кроватке с веревочными сетками по бокам, я зажмуривал глаза и слышал, как во дворе плетеными колотушками выбивают ковры и половики – стук, стук, стук…

Кто бы мог стучать в такую пору?

– Это стучит твое сердце, – говорила мама.

Оно и сейчас, неутомимое, стучит и напоминает мне, стоит зажмуриться, самые ранние детские годы.

Чем отдаленнее мелочи, лица, запахи, игрушки, чашки, книжки, клички дружков, имена-отчества учителей, планировки квартир, где я жил, география улиц, по которым я ходил с портфелем в многочисленные (каждый год войны – новая) школы, тем материальнее, ощутимее рисуются видения.

Вот, например, свинцово-тяжелое, весомое ощущение от ордена Ленина – эмаль, какая свежая эмаль! Я ощупываю орден на пиджаке прославленного моряка с диковинной по тем временам прямой и тяжелой трубкой в зубах. Мы на сочинской набережной рядом с санаторием «Ривьера», от которого в наши нынешние времена остались словно после атомной войны бетонные клети, купленные зачем-то миллионером Брынцаловым. А тогда… Капитан какого-то ранга среди магнолий (кажется, его фамилия была Бурмистров) – веселый, шумный мамин ухажер. А ведь рядом папа – робкий, беспартийный инженер Ижорского завода. 1938 год… Стало быть, мне было семь лет, но я на всю жизнь запомнил эту тревожную атмосферу вокруг смеющейся мамы.

Или трясущиеся колени отца, на которых я сижу во время осмотра профессором Бахоном в приемном покое Института уха, горла, носа на Бронницкой. Мне предстоит операция. Пенициллина еще не было, и воспаление среднего уха приводит к трепанации черепа. Это 1939 год. Беда случилась по весне – гостившая у нас в Колпине южанка-прабабушка Мария Федоровна Годяева по

ростовской привычке сняла с хлопца треух. Из-за болезни я пошел сразу во второй класс, где поражал одноклассников способностью загонять «вставочку», то есть ручку с пером, вверх по парте в желобок рядом с чернильницей, не касаясь ее ладонями.

Что же еще открывается в моей обратной жизненной перспективе?

Помню большой деревянный дом – вероятно, зимняя дача на Крестовском острове в Ленинграде. Мы – семья из Колпина: отец, инженер, мама, нижегородская мещанка, и я лет девяти – находимся в этом доме в гостях у артиста Василия Васильевича Меркурьева.

Бегают дети, но обстановка церемонная, мы робеем. Все стены огромной гостиной, а может быть, и столовой увешаны картинами. В центре стоит большой круглый стол-сороконожка, и прямо над ним (это впечатление главное) в размер стола висит огромный оранжевый абажур. На столе чинно расположился пузатый чайник под «бабой», турецкие хлебцы… Чай разливает жена артиста Ирина Всеволодовна, дочь великого Мейерхольда.

Во время блокады этот дом – последнее ленинградское пристанище Всеволода Мейерхольда – сгорел или был разобран на дрова.

Значительно позже, после войны, я узнал, как возникла дружба моего отца с популярным артистом Меркурьевым.

У Василия Васильевича был младший брат Петр, известный псковский большевик, начальник конструкторского бюро Ижорского завода. В тридцать восьмом году он был арестован. Мой отец был у него в заместителях и, в отличие от многих, кто оказывался в подобной ситуации, не остался равнодушен к участи своего начальника, которого ценил и к которому был привязан. И вот эти двое беспартийных – мой отец и Василий Меркурьев – упорно обивали пороги Большого дома на Литейном, хлопотали за брата и товарища.

И еще я узнал, что именно в доме на Крестовском в те годы встречались Всеволод Мейерхольд и известный музыковед Иван Соллертинский по поводу ареста Петра Меркурьева. Мейерхольд кричал, что пойдет к Сталину, на что Соллертинский заметил:

– Мало вам, что он закрыл ваш театр?

Что было дальше с Мейерхольдом – широко известно… Хлопоты Василия Васильевича и моего отца кончились тем, что им выдали узел окровавленного белья – все, что осталось от Петра Меркурьева. Эта кровь их и сроднила. А спасло этих двух беспартийных друзей именно то обстоятельство, что они были беспартийными.

Война нарушила мирное течение жизни колпинских мальчишек.

«Ура!» – весело кричали мы, глядя в небо, где каруселью кружили немецкие пикирующие бомбардировщики, громя Ижорский завод.

Жители нашего дома стали рыть «щели», то есть узкие окопы, где можно было бы укрыться от бомбежек. А война стремительно надвигалась. Отец дни и ночи проводил на заводе – шла эвакуация заводского оборудования на восток.

Из блокады мы с мамой вырвались в Челябинск, где отец, отправленный туда Ижорским заводом, строил танки. На бывшем тракторном заводе их называли «тридцать четвертая машина», то есть «Т-34».

Я ходил в школу. Не жажда знаний вела меня через страшные дворы к школьному порогу, а нехитрое желание получить положенную баранку, газетный кулечек желтого крупного сахарного песка. Впрочем, этот кулечек у меня частенько отбирали местные. Местные были сущим наказанием для ленинградских мальчишек: они обзывали нас, эвакуированных, «жидами» и нещадно колотили.

Вдобавок ко всему неприятности поджидали и дома.

– Ты был в школе? – спрашивала мама.

– Да, – говорил я чистую правду.

– Не ври! Где баранка и сахар?

Я не врал! Праведная обида разгоралась в душе тем пуще, что вообще-то в свои одиннадцать лет я был вралем настоящим, вдохновенным, не знающим удержу в этой страсти. Переврать меня мог только чемпион вранья Яшка Киперман, потерявший в блокаду родителей и сиротой оказавшийся в Челябинске. Мой отец взял его посыльным к себе в конструкторское бюро.

Мы соревновались:

– Когда я служил юнгой на эсминце «Гордый», – начинал я вдохновенно.

– Нет такого эсминца, – прерывал меня Яшка. – Зато я загасил двести немецких зажигалок у нас на чердаке.

– После того, как я поймал немецкого шпиона, – не унимался я.

– Врешь, – говорил Яшка. – А вот я разоблачил нашего соседа на лестнице, когда он подавал сигналы бомбовозам.

Переплюнуть его было трудно, он был немного старше и имел богатый блокадный опыт.

В Челябинске я много читал. Всего Диккенса, например… Полное собрание его сочинений в издании «Нивы». А однажды я наткнулся на записные книжки Марка Твена, где обнаружил золотую мысль: «Врать плохо потому, что нужно все время помнить, что говорил. Лучше промолчать, чем соврать!»

С враньем я завязал, а вот Яшка гораздо позже, после войны, сделал вранье и треп своей профессией – он стал знаменитым в Ленинграде конферансье Яковом Кипринским…

* * *

Так получилось, что мы вернулись после войны в дом Меркурьева – Мейерхольда. Снаряд угодил в нашу колпинскую квартиру, и в этом взрыве погибли не только родительское имущество и папина библиотека, но и весь вещный мир моего

детства. Выжило лишь старое неподъемное пианино «Оффенбахер». Этот контуженный, потерявший голос свидетель артобстрелов и сейчас с треснутой декой стоит у моего сына Никиты.

Василий Васильевич и Ирина Всеволодовна позвали нас к себе жить до той поры, пока Кировский завод, где после войны работал мой отец, не даст нам жилья.

Улица Чайковского, дом 33… Здесь мы прожили почти два года.

Это было удивительное время и удивительная среда. Три семьи под одной крышей. Роль всеобщей бабушки досталась матери Василия Васильевича Анне Ивановне, урожденной Гроссен. В этой хлопотливой русской старушке давно уже нельзя было распознать швейцарскую немку. Ее внуки Наташа, Виталик и Женя – осиротевшие дети Петра Меркурьева. Виталик впоследствии станет мореходом, Женя – известным артистом. Собственные дети Меркурьевых – Катя, Аня и малолетний Петя. Петя впоследствии станет известным хормейстером и на всю жизнь сохранит поразительное сходство со своим великим дедом Всеволодом Мейерхольдом… И наконец, мы трое – отец, мать и я. Даже четырех комнат этой квартиры было мало для такой компании.

А еще домработница, кошки, собаки… Друзья дома, гости, приятели детей…

Двор представлял собою лабиринт из дровяных поленниц. Отсюда ребята все время таскали дрова – в доме дымили печки-буржуйки. Питались по карточкам. На всех про всех было лишь три рабочих карточки (Василия Васильевича, Ирины Всеволодны и моего отца), остальные получали иждивенческие. И на рабочие-то жировать не приходилось, а эти и вовсе были одни слезы. Однако жили. И жили весело.

После войны Ленинград напоминал декорацию страшной сказки. Вот когда он более всего напоминал город-призрак. Он весь был цвета пепла, на всем лежала тень недавнего кошмара, и запах неизбывной беды, казалось, не выветрится никогда. Не было ни улицы, ни переулка, которые были бы обойдены следами разрушений. Даже уцелевшие дома выглядели неживыми инвалидами со слепыми стеклами – люди только возвращались в родной город, не ведая того, что осталось от их прежних жилищ.

А у Меркурьевых царил дух творчества!

Душой дома была Ирина Всеволодовна. Разговоры про фильмы, в которых в это время снимался Василий Васильевич: «Небесный тихоход», «Глинка», «Золушка», «Звезда». Походы в Александринку на его спектакли: «За тех, кто в море», «Глубокие корни», «Горе от ума». А на улице Чайковского – домашний театр, вечерние споры и воспоминания…

До того времени мне не приходило в голову писать стихи. Но вскоре я уже ходил в рисовальные классы и литературную студию Дворца пионеров.

Не стал я поэтом, не стал писателем. А стал кинорежиссером. И по сей день казню себя за то, что не снял Василия Васильевича (Васечки – как называл его мой отец) в своем кино. А мог бы – Василий Васильевич умер в 1978 году. К этому времени я уже сделал шесть картин.

– Почему? – спрашиваю я себя. – Почему я не снял в своем кино этого великого артиста?

Ответ один – робел, стеснялся, это была детская застрявшая в душе робость, робость перед «глыбой».

Отец и мама всегда звали меня «Гоша», бабушка Надежда Осиповна Ильина, родом из Ростова, – даже с фрикативным «Хоша», а вот Меркурьев громогласно звал меня «Гога!». Я не любил этого слова. В те годы словечко «гогочка» было нарицательным, им дразнили.

Позже я встретился с другим великим человеком, которого тоже звали Гогой. И не было в этом имени ничего нарицательного. Это был Товстоногов…

Значительно позднее я все-таки снимал Меркурьевых: Петю, которого трехлеткой носил на плечах, в фильме «Филипп Траум» (по повести Марка Твена «Таинственный незнакомец»), и Женю, ставшего народным артистом России, в «Русских деньгах» (по пьесе А. Н. Островского «Волки и овцы») – в ролях небольших, но значимых…

Возможно, я никогда бы не ступил на шаткую стезю искусства, если бы не эта удивительная семья.

* * *

Итак, с улицы Чайковского по Литейному проспекту, поворот на Невский и до Аничкова моста: два раза в неделю я отправлялся во Дворец пионеров, на занятия в литературную студию.

Там с нами занимались молодые замечательные люди. Помню голос Леонида Хаустова, который часами читал на память чужие стихи, поражая этим наше воображение. Помню улыбку с прищуром знатока зарубежной литературы Ефима Эткинда, пытавшегося по мере сил восполнить огромные лакуны в нашем образовании.

Но главным человеком для нас тогда был ленинградский поэт Глеб Сергеевич Семенов. Сутулая фигура, усы щеточкой, негромкий голос. Благородство во всем. В нем самом, в том, что он говорил, ничто не бросалось в глаза, ничто не отпечатывалось в памяти готовым афоризмом. В нем не было яркости, а была прозрачная ясность и глубина, которая просматривалась далеко, но и дальше угадывалось, что она еще продолжается. Я ведь тогда не очень понимал, что это большой, настоящий поэт: он редко читал нам свои стихи и, кажется, еще реже печатался. Это теперь, листая пять тоненьких сборников, во мне проступает понимание, у кого мне посчастливилось учиться:

Вижу яростный лик небосвода,

знать не знаю лица своего.

Сколь ничтожна моя несвобода

перед явленой волей Его!

О раскованность, о торжество!

А еще говорят – непогода…

Или вот еще, наугад:

Я затихаю на природе.

Как бедный родственник, вхожу.

Среди больших ее угодий

угла себе не нахожу.

Постыдно тянет подольститься —

помочь ручью, спасти жука —

и на небо перекреститься,

как атеист – исподтишка.

Я умиляюсь глупой птахе,

травинке малой на лугу…

Но блудным сыном, ниц во прахе,

вернуться в лоно не могу.

Сижу, философ безбородый,

на краешке чужого пня.

Природа занята природой,

ей нету дела до меня.

Глеб Сергеевич был учителем от Бога… Но не только учителем – а нашим товарищем, умеющим радоваться каждой нашей удачной строчке и быть снисходительным к строчке неумелой. Безукоризненный вкус, абсолютный слух на слово, чутье не только на таланты, но и на отзывчивые души. Наше обучение происходило вразрез с руководящим курсом. Культурный фюрер той поры товарищ Жданов уже отлучил от советской литературы и Михаила Зощенко, и Анну Ахматову. Но наш учитель этого «не заметил». Мы продолжали их читать.

Как я узнал уже потом, у него была не одна наша студия – он занимался с молодыми ребятами и в ЛГУ, и в Политехе, и в ДК Первой пятилетки. Особенно знаменитой была его студия при Горном институте. оттуда вышли Леонид Агеев, Андрей Битов, Владимир Британишский, Глеб Горбовский, Александр Городницкий. Этот его выпуск получил даже потом название «геологическая школа»… Вот как, например, писал в возрасте одиннадцати лет наш товарищ Володя Британишский (цитирую по памяти):

Гесиод, Гомер и Овидий —

Все отжили давным-давно.

Я не знаю, в какой Колхиде

Золотое мое руно…

Я не знаю, какое море

Мне придется переплывать,

Я не знаю, какое горе

Мне придется переживать…

Профессиональными литераторами, кроме Володи Британишского – поэта и замечального переводчика, – стали прозаик и редактор журнала «Нева» Борис Никольский, поэт Лев Куклин, журналист и сценарист Феликс Нафтульев.

Шумный, необузданный Ленька Эфрос – по образованию экономист – до самой своей смерти писал искренние, исповедальные стихи.

Как трудно человек взрослеет!

Во времени, как в тине, тонет.

В нем что-то с каждым днем мелеет,

Все время что-то он хоронит…

…Взрослеет сверстник мой, взрослеет.

Признаться в этом лишь не смеет.

Людмила Ивашко и Светлана Богачева стали докторами наук – филологических и математических соответственно. Но какое бы профессиональное поприще ни выбрал каждый из нас, все мы как один человек стали профессиональными читателями. И это была абсолютная педагогическая победа Глеба Сергеевича Семенова.

Можно ли научить поэзии? Пусть читателя не вводит в заблуждение внушительный список студийцев, учеников, выпускников Глеба Семенова. Они родились поэтами, а он лишь вовремя встретился на их пути и помог им в труднейшей науке самовоплощения. Глеб Сергеевич не учил нас писать стихи, а

учил читать их. Он учил понимать, чувствовать не только других, но и самих себя – не поверхностно, а сущностно. Не случайно один из студийцев называл его «Глеб наш насущный».

21 апреля – день его памяти…

…Друг милый. Луг нежный. Лес темный.

Звон дальний. Свет чудный. Мир Божий…

Юность кинозрителя

Кинотеатры моего детства. – «Золотой ключик» заканчивается в 1939-м. – Американский Сталин на нашего не похож. – Папа строит танки в Сормове. – Марика Рёкк в пижаме с балкона видна лучше. – In der Nacht ist der Mensch nicht gern aleine… – Мой выбор огорчает родителей.

«С трех лет я мечтал снимать кино!»

Это не мои слова. Так говорят в своих интервью многие мои нынешние коллеги.

Я не мечтал снимать кино. Я был обыкновенным мальчиком, который просто любил смотреть фильмы. Любил не больше и не меньше, чем прочие советские мальчишки.

Для меня кино не было «кинематографом», а было – «киношкой». Относился к нему потребительски, ждал от него исключительно развлечений.

И все же, вспоминая свое детство, я слышу мелодии…

Далёко, далёко за морем

Стоит золотая стена…

Звуки этого вальса-бостона возвещали нам, колпинским мальчишкам, о том, что очередной сеанс «Золотого ключика» заканчивается. Это было до войны – тысяча девятьсот тридцать девятый год, мне восемь лет… Близко от дома, на другой стороне канала был деревянный кинотеатр, откуда и доносилась музыка. В войну он, конечно, сгорел…

Бей, барабан, походную тревогу!

Время не ждет!

Товарищи, в дорогу!..

Во время войны смотрел советские комедии. Помню смешное в этих фильмах, помню героическое – атаки, апофеозы, страстный голос Николая Симонова в «Петре Первом». И снова песни, песни… Они позволили сохранить в памяти частицы киновпечатлений.

Жил на свете капитан,

Он объездил много стран…

– и перед глазами Николай Черкасов в роли Паганеля.

Много песен о Волге пропето,

Но еще не сложили такой…

– это уже классика!

Или вот:

Вар-вар-вар-вары!

Шагай вперед, малыш…

Что это?.. «Три мушкетера», американская комедия 1939 года с братьями Риц – смешная, дурацкая. Но ведь тогда «смешная, дурацкая» – это были наилучшие

характеристики. Во время войны шло много кинокомедий – считалось, что они отвлекают людей от тягот повседневного невыносимого быта. Вероятно, так оно и было.

Мы с мальчишками с нашего «двухсотого» завода ходили через небезопасный трущобный район Челябы «Портартур» в центр города, в кинотеатр «Спартак». Смотрели все подряд – боевые киносборники, «Радугу» Марка Донского, английские фильмы «Джорж из Динки-джаза» и «Багдадский вор» с Конрадом Вейдтом, американскую «Северную звезду» Льюиса Майлстоуна (Льва Мильштейна из Кишинева) по сценарию Лилиан Хеллман с Эриком фон Штрогеймом в роли немецкого оккупанта советского колхоза, «Миссию в Москву», в которой с замиранием сердца рассматривали Рузвельта, Черчилля, а также Сталина, Молотова в исполнении американских актеров.

– Не похожи… – шептали мы друг другу.

В кинотеатрах залы всегда были полны – дети, калеки, женщины.

Этим и заполнено было мое отрочество в Челябе – кино, собрание сочинений Диккенса да еще толстая пачка замусоленных почтовых открыток, которыми мы обменивались, с репродукциями картин русских художников. Я их срисовывал и раскрашивал – «Аленушка», «Три богатыря», «Утро в сосновом лесу»…

Потом Сормово, житье в двухэтажном деревянном доме бабушки Надежды Осиповны. Здесь я разглядывал марки в альбоме, доставшемся мне от дедушки Василия Павловича, бесконечно перелистывал иллюстрации Гюстава Доре в дедушкиных книгах – Библия, «Дон Кихот», «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Отец строил танки теперь на Сормовском заводе. Эти машины – новенькие, свежепокрашенные, с пилами и топорами, принайтованными к бортам, с танкистами в белых новых полушубках – днем и ночью ползли из ворот завода мимо нашего дома и школы напротив, где в то время был госпиталь. Они то проваливались в глубокие ямы разбитой ими улицы, то выползали оттуда пушками вверх. Но спали мы спокойно в этом грохоте – привыкли.

Ярким событием тех лет было возвращение из немецкого плена отца моих двоюродных сестер Лены и Ларисы – Виктора Ивановича Третьякова. От него

остро пахло чем-то незнакомым, каким-то чужим туалетным мылом (потом понял, что это была всего лишь лаванда). В Нюрнберге, в лагере он был в Сопротивлении, доказал это, был прощен и вернулся на автозавод имени Молотова, где и раньше работал инженером.

После войны появлялось все больше трофейных фильмов: «Путешествие Марко Поло», «Знак Зорро», «Тарзан» и, наконец, «Девушка моей мечты»!

Мой друг по литературной студии Дворца пионеров Феликс Нафтульев имел фотоаппарат «ФЭД». Многократно пересматривая этот фильм, он снял с экрана все важнейшие эпизоды. У меня до сих пор хранится в старом фотоальбоме кадр с Марикой Рекк в пижаме, сделанный Феликсом.

Любимый фильм бесноватого фюрера торжественно в течение многих месяцев не сходил с экрана кинотеатра «Титан», что на углу Литейного и Невского. В качестве дополнительного аттракциона там предлагался не попкорн, а беготня крыс по длинному проходу между креслами.

Однажды Феликс сказал:

– Нужно искать зал с балконом!

– Зачем?

– Она купается в бочке…

– ?

– Сверху, наверное, снять ее интереснее.

Значительно продвинулся наш немецкий язык, который до этого с отвращением (язык врага) мы изучали в школе. Теперь мы распевали с ужасающим акцентом:

In der Nacht ist der Mensch nicht gern aleine…

Что в переводе означало: «По ночам мужчина не хочет быть одинок…»

Вот таково было благотворное влияние киноискусства на наши неокрепшие души.

В соответствии с завещанием вождя мирового пролетариата, кино почиталось важнейшим из всех искусств. Товарищ Сталин всячески поддержал эту установку, и потому кино у нас было не только важнейшим, но и великим. Величие кинематографа в те годы выражалось, в частности, в названиях кинотеатров. В Ленинграде были: вышеозначенный «Титан», а также «Великан», «Колосс», «Гигант» и даже «Колизей»!

Как мы выбирали фильмы?.. Как и теперь, надо полагать. Молва была лучшей рекомендацией. Рецензии критиков не имели никакого значения. В те времена мы даже говорили: «Раз в статье ругают, надо смотреть…»

Как видите, мой кинематографический багаж был невелик. Смолоду я не помышлял стать кинодеятелем, не поступал после школы во ВГИК, редко-редко ходил по пригласительному билету в ленинградский Дом кино на Невском проспекте. Но когда попадал туда, то с интересом слушал рассказы режиссеров. Помню свое восхищение на вечере молодого небожителя Владимира Венгерова и его рассказ о съемках «Двух капитанов»…

Я был «стопроцентным зрителем»… и литературным мальчиком, поэтому мы с Феликсом и поступили на филологический факультет Ленинградского университета. Я – на газетное отделение, он – на русскую филологию.

Мой выбор огорчил родителей. Отец хотел, чтобы я стал архитектором (и он был прав, но архитектором стал не я, а мой сын, его внук). Мама мечтала, чтобы я стал дипломатом… Наивная!

Наши университеты

В нас воспитывают важное и опасное качество. – Я рисую сладострастного слона. – «Табуретовка» Глеба Горышина. – Первые публикации и первые гонорары. – На трамвае от Сосновки к Калинкину мосту. – Служба в газете. – Я отец семейства. – Отпечатки пальцев и плед за пять долларов.

Профессура старой, еще дореволюционной школы воспитывала в нас очень важное и, как показала дальнейшая жизнь, опасное качество – интеллигентность.

Худшего времени для гуманитарных наук, чем 1949 год, придумать было невозможно. Тяжко было всей стране, но для ученых сама их профессиональная деятельность была зоной ежедневного риска. Сегодня ты профессор, за кафедрой, тебе внимают студенты, а завтра – безродный космополит и враг народа. В эту эпоху тотального мракобесия наши профессора пытались укрыться в прошедших временах и узких специализациях, страшно далеких от окружающей действительности и правящей идеологии. Не у всех получалось. На первом курсе мы начали слушать профессора Гуковского, но вскоре его арестовали… Замечательный некрасовед Евгеньев-Максимов всячески избегал касаться проблем современной советской литературы. Легендарный профессор Пропп в своем курсе не выходил за пределы нашего Средневековья. Лингвист Будагов уже по самой природе своей науки был ограничен проблемами синтаксиса и пунктуации – чему, как кажется, был очень рад. И только литературоведы Макагоненко и Наумов вдохновенно живописали немыслимые достижения социалистического реализма и доказывали преимущества оного перед иными методами.

Львиную долю учебного времени отнимали занятия по так называемой специальности: своим опытом работы в партийной печати делились мастера советского газетного дела, доценты П. Хавин, А. Бережной и Б. Вяземский.

Самым ярким впечатлением от университетской учебы стали для меня студенческие стройки.

В шесть часов день за днем

Слышен возглас: «Подъем!»

Вьется низкий, белесый туман.

И студенты идут

В наступленье на грунт

По росистой траве в котлован…

Это была песня, написанная нашим же студийцем из Дворца пионеров, Юрой Голубенским – первокурсником-юристом. То, что мы делали, наверняка никому не было нужно – да нам-то что было за дело, мы были молоды, веселы и на этих стройках чувствовали себя куда свободнее, нежели на лекциях о теории и практике партийной печати. В районе Лодейного Поля под надзором местных прорабов мы строили какие-то малюсенькие электростанции на крошечных речушках…

Через несколько лет Медведковская ГЭС, которую мы тогда строили, поросла бурьяном: речка течет, трава растет – все пришло к тому, чем и было до нашего пришествия, только ряжи остались стоять.

Моей «общественной нагрузкой» была стенная газета «Филолог», про которую говорили: «Растянулася газета от клозета до клозета». Действительно, длина ее была не менее пятнадцати метров, выпускали мы ее каждую неделю. И всякий раз, когда ее разворачивали, толпы студентов обступали наш настенный орган.

Вооруженный кистями и гуашью, я без устали рисовал карикатуры, а Феликс делал к ним стихотворные подписи. Газету мы выпускали ко всевозможным событиям на факультете. А поскольку событиями этими были в основном комсомольские собрания и происходили они довольно часто, у нас с другом Нафтульевым периодически случались творческие кризисы. В один из таких моментов, получив общественное задание из комитета комсомола – заклеймить двоечницу N, мы с Феликсом тупо посмотрели друг на друга.

– Кого ты еще не рисовал? – спросил Феликс.

– Слона… – наобум ляпнул я. – А смысл?

– Как-нибудь…

И пока я на листе ватмана рисовал слона, подступающего к злосчастной студентке, Феликс творил:

Путь к знаньям ей застил заслон —

Не лень, не дурь, а целый слон.

В университете я дружил с Глебом Горышиным, будущим писателем.

Отец Глеба был начальником треста «Ленлес» и настоящим русским великаном. Эта особенность конституции передалась Глебу по наследству. А еще передалась страсть к охоте, что отразилось в его творчестве – все рассказы Глеба так или иначе связаны с жизнью Приладожья.

В доме Горышиных всегда была лосятина или медвежатина. А под кроватью стройными рядами покоились бутыли древесного спирта – «табуретовки».

– У тебя трешка есть? – спрашивает Глеб.

– Найдется, – отвечаю я.

– Это хорошо, – как бы между делом произносит Глеб и лезет под диван.

– А отец?

– Всем хватит. – Глеб вылезает из-под дивана с бутылочкой ректификата.

Через минуту мы идем по улице в направлении ближайшей пивной.

– Пиво или лимонад? – таинственно спрашивает Глеб, когда мы встаем у грубого круглого стола, хранящего следы стаканов и пивных кружек.

– Сегодня – пиво! – недолго думая, отвечаю я. – Помнишь, что было со мной после лимонада…

На закуску, как правило, денег не хватало.

Очень скоро эта «табуретовка» отвратила меня от спиртного на долгие годы – до самого, можно сказать, кинематографа.

А Глеба Горышина – нет! И с нами его теперь тоже нет…

Нет с нами и другого моего доброго товарища – Юры Гаврилова. Он был славист. После университета его пригласили в «Литературную газету» в международный отдел. В одну из командировок в Африку, в Конго, к знаменитому Лумумбе он погиб, подхватив какой-то экзотический вирус. А в студенческое время он помог мне заработать первый в моей жизни гонорар – по его подстрочнику я перевел с чешского поэму Марии Пуймановой «Миллионы голубей» и опубликовал в журнале «Звезда». В память об этом литературном подвиге у меня до сих пор стоит портативная машинка «Райнметалл», которую я купил в комиссионке за три тысячи гонорарных рублей.

Долгие годы после этой публикации тогдашний главный редактор «Звезды» Михаил Дудин, встречая меня, восклицал:

– Где новые переводы?

Я запомнился ему как молодой переводчик, подающий надежды… И в ином качестве он меня уже не воспринимал.

В 1953 году умер Сталин, и, в отличие от многих советских людей, я не был душевно потрясен этой смертью. Чувство глубокой личной утраты не посетило меня, нет. Напротив. Яс интересом ждал, куда все повернется в нашей стране.

К тому времени я успел обзавестись подмоченной репутацией – жена моя была настоящей «буржуазной» эстонкой, родившейся и до 1949 года проживавшей с родителями в Таллине. В университете она училась на отделении английской филологии параллельно со мной. Приехала в Ленинград к своей тете – Анне Ивановне (по правде говоря, Иоганне), жене профессора Политехнического института Александра Михайловича Залесского.

Там, в профессорском корпусе Политеха, моя будущая жена и квартировалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/maslennikov_igor/beyker-strit-na-petrogradskoy

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити